

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 43

1956



Стефан ЦВЕЙГ

ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Стефан ЦВЕЙГ

ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

Перевод с немецкого
В. К. Ефановой.

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1956

Стефан ЦВЕЙГ

Известный австрийский писатель Стефан Цвейг родился в Вене в 1881 году. Литературной работой он начал заниматься рано и в 1900 году издал первый сборник своих стихов.

В то же время Стефан Цвейг работает над переводами художественных произведений, много путешествует, с любовью и большим интересом изучая жизнь и культуру разных народов и стран.

В 1911 году был выпущен первый том его рассказов, которые сразу же обратили на себя внимание и принесли писателю широкую известность. Многие из его новелл, блестяще написанных, насыщенных глубоким драматизмом, вошли в сокровищницу мировой литературы. В течение долгого времени новеллы являлись его любимым жанром, но после первой мировой войны Стефан Цвейг пишет целый ряд историко-биографических и художественно-исторических произведений.

Его интерес к творчеству русских писателей был всегда велик. Дружеские отношения связывали Стефана Цвейга с Горьким, он вел интересную переписку с Константином Фединым.

Когда Гитлер захватил власть в Германии, книги Стефана Цвейга — гуманиста, противника войны и фашизма — были запрещены, а после того как была оккупирована Австрия, писателю пришлось покинуть свою страну и эмигрировать в Бразилию. В 1942 году, не в силах вынести разлуку с родиной и одиночество, Стефан Цвейг покончил жизнь самоубийством.

«Шахматная новелла» — последний рассказ, написанный Стефаном Цвейгом, печатается в СССР впервые.

На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда в последние минуты перед отходом, деловитая суета. Через толпу во всех направлениях проталкивались провожающие; рассыльные телеграфа в лихо сдвинутых набок каскетках выкрикивали фамилии пассажиров, проносили багаж и цветы; по трапам бежали любопытные дети — все это под непрерывный аккомпанемент судового оркестра.

Я стоял со своим приятелем на верхней палубе, вдали от этой суеты. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний. Должно быть, в числе пассажиров была какая-то знаменитость и для интервью, полученного в последний момент, потребовался портрет. Мой друг, взглянув в ту сторону, усмехнулся:

— С вами на пароходе едет чудо природы — Чентович.

Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил:

— Мирко Чентович — чемпион мира по шахматам. Он только что прогремел на всю Америку, выступая там в шахматных турнирах, и сейчас направляется за новыми победами в Аргентину.

Тут я вспомнил не только имя молодого чемпиона мира, но и кое-какие подробности его молниеносной карьеры. Мой друг, следивший за мировой прессой более внимательно, чем я, пополнил мои сведения, рассказав по этому поводу целый ряд анекдотов.

Около года тому назад Чентовичу удалось одним ударом стать в ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Решевского блистательная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе такой острый интерес. Умственные способ-

ности Чентовича отнюдь не предсказывали ему такую блестящую будущность. Вскоре раскрылась и другая тайна: в частной жизни чемпион мира не в состоянии был написать без ошибок даже нескольких слов ни на одном языке, и, как саркастически заметил один из его желчных соперников, «невежество его было всеобъемлющим».

Крошечное суденышко, принадлежавшее его отцу — нищему югославскому лодочнику, — было однажды ночью потоплено дунайским грузовым пароходом. Пастор их глухой деревушки взял из жалости на свое попечение осиротевшего мальчика, которому в то время было двенадцать лет. Добрый человек делал все, что было в его силах, стараясь втолковать тупому, плохо ворочавшему языком, низколобому мальчишке не дававшиеся ему школьные премудрости.

Но все старания пастора оказались напрасными. Мирко в сотый раз бессмысленно смотрел на буквы и не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В четырнадцать лет он все еще считал по пальцам и с огромным трудом мог прочитать небольшой отрывок в книге или газете. Однако нельзя сказать, чтобы Мирко был нерадив или непослушен. Он исполнял все, что ему приказывали: таскал воду, колол дрова, работал в поле, убирал кухню. На него можно было положиться; любое поручение он в конце концов выполнял, хотя и с изводящей всех медлительностью. Но что больше всего огорчало доброго пастора в упрямом подростке — это его равнодушие. Он никогда ничего не делал без специального приказа, никогда не играл с другими мальчишками и никогда не искал себе какого-нибудь дела, пока ему не указывали пальцем. Закончив домашнюю работу, Мирко усаживался и так и сидел с бессмысленным, как у пасущейся овцы, взглядом, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творилось вокруг. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную крестьянскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандармским вахмистром, светловолосый недоросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску.

Однажды зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою традиционную игру, за окном послышался нарастающий звон бубенцов. К дому быстро приближались сани. В комнату вбежал крестьянин в заснеженной шапке и стал просить пастора как можно скорее поехать к его умирающей матери, чтобы успеть дать ей последнее напутствие. Священник

тут же отправился с ним. Вахмистр, не допивший своей кружки пива, раскурил на прощание еще одну трубку и уже собрался натянуть высокие меховые сапоги, как вдруг заметил, что Мирко все еще, не отрываясь, смотрит на шахматную доску с неоконченной игрой.

— Может быть, ты хочешь закончить партию? — шутливо спросил вахмистр, совершенно убежденный, что придурковатый парень не знает даже, как передвигаются на доске шахматные фигуры. Мальчик неуверенно взглянул на него, но утвердительно кивнул головой и сел на место пастора. На четырнадцатом ходу вахмистр был побежден и должен был признаться, что его поражение последовало вовсе не от какого-либо случайного зевка. Вторая партия закончилась так же.

— Валаамова ослица! — вскричал, вернувшись, пораженный пастор и объяснил вахмистру, не слишком хорошо знакомому с библией, что две тысячи лет тому назад произошло подобное же чудо, когда бессловесное до тех пор животное заговорило, и к тому же очень мудро. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирко с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упрямо, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не могли одержать над ним ни одной победы.

Священник, лучше других знавший о безнадежной отсталости своего воспитанника, задался вопросом: сможет ли этот одбокий, необычайный талант выдержать более серьезное испытание. С помощью сельского парикмахера Мирко привели в более приличный вид, и пастор отвез его на санях в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахматной игры, игроки, как он убедился на опыте, намного выше его классом.

Появление пастора в сопровождении русого, краснощекого пятнадцатилетнего парня вызвало всеобщий интерес. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирко стоял поодаль, с опущенными глазами, в своем вывернутом бараньем полушубке и высоких пастушьих сапогах. Он проиграл первую партию, потому что пастор никогда не применял сицилианского начала. Следующая партия с лучшим игроком города закончилась вничью. Однако третью, четвертую и все последующие Мирко выиграл одну за другой.

Провинциальные городки Югославии не часто бывают аре-

ной волнующих событий. Поэтому первое выступление сельского чемпиона произвело в кругу достойных граждан целую сенсацию. Было единодушно решено, что мальчик должен остаться в городе до следующего дня, когда будет созвано специальное собрание шахматного клуба, в особенности же для того, чтобы с ним мог сыграть фанатический поклонник шахматной игры, владелец близлежащего замка старый граф Зимчиц. В священнике боролись пробудившаяся гордость за своего питомца и чувство долга, призывавшее его обратно в село к воскресной службе. Чувство долга восторжествовало, но пастор согласился оставить Мирко в городе для дальнейших испытаний. Шахматисты поместили молодого Чентовича в гостиницу, где он впервые в жизни увидел современную уборную.

В воскресенье после обеда шахматная комната была набита до отказа. В течение четырех часов Мирко неподвижно сидел перед доской, не произнося ни слова, не подымая глаз, и разбивал одного игрока за другим. Наконец ему была предложена одновременная игра на нескольких досках. Понадобилось некоторое время, прежде чем игроки смогли объяснить Мирко, что он должен будет играть сразу против нескольких противников. Но как только он уяснил себе, чего от него хотят, он невозмутимо принялся за дело и стал ходить от стола к столу, медленно ступая тяжелыми поскрипывающими сапогами. В конце концов он выиграл семь партий из восьми.

После этого начались серьезные совещания. Строго говоря, новый чемпион не являлся уроженцем этого города, но все равно местный патриотизм был задет за живое. Наконец-то у крошечного, вряд ли даже отмеченного на карте городка появился шанс назваться родиной знаменитости.

Водевильный импрессарио по имени Коллер, поставлявший шансонеток и певичек местному гарнизонному кабаре, заявил, что берется устроить юноше уроки у своего знакомого в Вене — знатока шахматной игры — и будет содержать молодого Мирко в течение года с тем, чтобы расходы были впоследствии возмещены. Гарантию подписал граф Зимчиц — за все шестьдесят лет, что он ежедневно играл в шахматы, ему не приходилось сражаться с таким замечательным противником. Этот день положил начало поразительной карьере сына дунайского лодочника.

Мирко понадобилось всего лишь шесть месяцев, чтобы овладеть всеми секретами шахматной техники, правда, с одним лишь недостатком, который впоследствии заметили любители

шахматной игры и который вызывал с их стороны насмешки. Чентович не мог запомнить ни одной игры и не мог, говоря языком профессионалов, играть вслепую.

Он был абсолютно неспособен создать в своем воображении шахматную доску. Ему было совершенно необходимо иметь перед собой настоящую, расчерченную на шестьдесят четыре черных и белых квадрата доску и тридцать две фигуры. Даже достигнув международной славы, он носил при себе складную карманную доску, чтобы иметь возможность в любой момент наглядно воспроизвести нужную позицию или задачу.

Хотя сам по себе этот дефект и не представлял особой важности, тем не менее он указывал на недостаток воображения и вызывал оживленные толки между любителями шахмат — такие толки возникают, например, в музыкальных кругах, когда выясняется, что выдающийся виртуоз или дирижер не может играть или дирижировать напамять, без нот. Впрочем, этот недостаток не помешал замечательным успехам Мирко. В семнадцать лет он уже имел с десяток различных призов, в восемнадцать стал чемпионом Венгрии и, наконец, в двадцать — чемпионом мира. Лучшие игроки, несравненно превосходившие его умом, силой воображения и смелостью, не смогли противостоять его железной, холодной логике, как не мог Наполеон противостоять осторожному Кутузову и Ганнибал — Фабию Кунктатору, у которого, по свидетельству Ливия, черты апатии и слабоумия проявлялись уже в раннем детстве. Таким образом, оказалось, что в блистательное общество шахматных мастеров, среди которых были видные представители самых разнообразных отраслей культуры — философы, математики, люди, обладающие художественным чутьем, изобретательскими способностями и нередко творческим талантом, — затесался совершенно чуждый и неподходящий человек, хмурый, молчаливый и неразвитый деревенский парень. Самые ловкие журналисты не могли вытянуть из него ни одного слова, которое послужило бы поводом для сенсационной статьи. Газеты были лишены такой возможности, но это восполнялось обилием циркулировавших о нем анекдотов: поднявшись из-за шахматного стола, за которым он был непревзойденным мастером, Чентович неизбежно становился забавной, почти комической фигурой. Несмотря на безукоризненный костюм, модный галстук со слишком крупной жемчужиной и тщательно наманикюренные ногти, он оставался тем, кем был, — ограниченным, неотесанным парнем, еще недавно подметавшим кухню пастора. Он стре-

милея выжать из своего дара и своей известности как можно больше денег, проявлял при этом мелочную и часто грубую жадность. Делал он это с беззастенчивой откровенностью, возбуждавшей непрерывные насмешки и раздражение его коллег. Путешествуя из города в город, он останавливался в самых дешевых отелях, соглашался играть за любой шахматный клуб, готовый уплатить ему гонорар, продал фабриканту мыла право помещать свой портрет на рекламных объявлениях и, не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, знавших, что он еле умеет писать, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную голодным галицийским студентом по заказу какого-то предпринимчивого издателя.

Как обычно бывает с людьми такого склада, Чентович был совершенно лишен чувства юмора и, сделавшись чемпионом, стал считать себя самым важным человеком в мире. Сознание того, что он сумел одержать победу над всеми этими умными и культурными людьми, блестящими ораторами и писателями, и к тому же зарабатывает больше их, превратило его прежнюю неуверенность в холодную, надменную гордость.

— Разумеется, как и следовало ожидать, легко добытая слава вскружила такую пустую голову,— заметил мой друг и привел несколько классических примеров того, как Чентович с чисто детским тщеславием стремился занять положение в обществе.— Почему бы двадцатилетнему парню не стать невероятно тщеславным, если, двигая фигурки на доске, он может в одну неделю заработать больше, чем вся его деревня за год на рубке леса в ужасных условиях.

Кроме того, весьма легко считать себя великим человеком, если ваш мозг неотягощен ни малейшим подозрением, что на свете когда-то жили Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон. В его ограниченном уме живет только одна мысль: уже в течение многих месяцев он не проиграл ни одной партии. И так как он не имеет понятия о том, что в мире существуют другие ценности, кроме шахмат и денег, у него есть все основания быть в восторге от самого себя.

Рассказ приятеля, разумеется, возбудил мое любопытство. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономании — люди, которыми владеет одна-единственная идея, потому что, чем уже рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в некотором смысле приближается к бесконечному. Как раз такие по видимости равнодушные ко всему на свете люди упорно, как муравьи, строят собственный, ни на что не

похожий мирок, из какого-то особого материала, представляющий для них уменьшенное подобие вселенной. Поэтому я не скрыл от приятеля своего намерения — постараться за время двенадцатидневного путешествия до Рио поближе познакомиться с этим представителем одностороннего интеллекта.

— Вряд ли это вам удастся, — предупредил меня мой собеседник. — Насколько я знаю, еще никто не сумел выудить из Чентовича хоть какую-либо мелочь, годную для психологического истолкования. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Способ у него простой: за исключением земляков, и притом людей своего круга, с которыми он встречается в дешевеньких гостиницах, Чентович избегает вступать с кем-либо в разговоры. Почувствовав, что перед ним культурный человек, он сразу же, как улитка, прячется в свою раковину; поэтому никто не может похвастаться, что слышал от него какую-нибудь глупость или сумел оценить всю бездну его невежества.

Должно быть, мой приятель был прав. Завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным — разве что проявить настойчивость, — но я не сторонник таких приемов. Иногда он появлялся на верхней палубе и гулял там, заложив руки за спину в позе сосредоточенного раздумья, совсем как Наполеон на известном портрете. Стюард, у которого я доверительно навел справки, сказал мне, что большую часть дня он проводит у себя в каюте за большой шахматной доской, разбирая сыгранные партии или решая задачи.

Через три дня меня стало злить, что оборонительная тактика Чентовича оказалась сильнее моего желания как-нибудь до него добраться. До сих пор мне не приходилось встречаться с выдающимися шахматистами. Чем больше я старался понять этот тип людей, тем невероятнее мне казалась эта работа человеческого мозга, полностью сосредоточенная на небольшом пространстве, разбитом на шестьдесят четыре черных и белых квадрата. По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование «королевской игры», единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая и венчает лаврами только разум, или, вернее, особенную форму умственной одаренности. Но разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? В то же время это и не наука, и не искусство, вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, подобно тому, как витает

между небом и землей гроб Магомета. В этой игре сливаются воедино самые противоречивые понятия. Она и древняя и вечно новая; как будто механическая в своей основе, но приносящая победу только при наличии фантазии; ограниченная тесным геометрическим пространством — и в то же время безграничная в своих комбинациях; непрерывно развивающаяся и совершенно бесплодная; мысль без вывода, математика, которая ничего не вычисляет, искусство без произведений, архитектурное строение без строительных материалов. При всем этом — игра, как это доказано на деле, выдержавшая испытание времени, лучше, чем все книги и творения людей. Единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам. Никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, чтобы развевать скуку, обострять чувства, ободрять душу. Где ее начало и где конец? Ее простые правила могут выучить дети, ее очарованию поддаются даже негодяи, и в то же время в ее непроницаемо тесном квадрате рождаются совсем особенные, ни с кем не сравнимые мастера — люди, одаренные исключительно шахматными способностями. Это особые гении, которым воображение, настойчивость и точная техника свойственны в такой же степени, как математикам, поэтам и композиторам, только в других сочетаниях и с иной направленностью.

И вот наконец, впервые в жизни, совсем близко от меня, на одном корабле, всего через шесть кают, оказался один из таких феноменов — исключительный гений или, может быть, загадочный глупец, — а я, несчастный человек, у которого страсть разгадывать психологические загадки перешла в манию, не мог найти способа познакомиться с ним. Я изобретал всяческие хитрые маневры: то собирался сыграть на его тщеславии, попросив интервью для влиятельной газеты, то рассчитывал пробудить в нем жадность, предложив выгодное турне по Шотландии.

Наконец мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, самым удачным способом привлечь к себе внимание шахматного мастера будет самому выдать себя за шахматного игрока?

Я никогда не играл в шахматы серьезно, для меня это было развлечением, и ничем больше. Если я и провожу иногда час за шахматной доской, то вовсе не для того, чтобы утомлять свой мозг, а, напротив, для того, чтобы рассеяться после напряженной работы. Я в полном смысле этого слова «играю» в шахматы, в то время как настоящие шахматисты священно-

действуют, если позволительно употребить такое выражение. Шахматы так же, как любовь, требуют партнера, а до сих пор я не мог выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил примитивную ловушку в курительном салоне. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. И, конечно, не успели мы сделать нескольких ходов, как возле нас остановился один пассажир, затем еще один попросил разрешения посмотреть на игру, а скоро отыскался и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию.

Это был некто Мак Коннор, шотландец, инженер по подземным сооружениям. Я узнал, что он бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. Мак Коннор был здоровым человеком с квадратной челюстью и крепкими зубами. У него был яркий цвет лица — отчасти, без сомнения, от неумеренного потребления виски — и широкие плечи атлета, довольно неприятно дававшие себя чувствовать в игре. Мак Коннор принадлежал к той породе самоуверенных, преуспевающих людей, которые любое поражение даже в самом безобидном соревновании воспринимают не иначе, как удар по их самолюбию. Этот массивный человек, обязанный своими успехами исключительно самому себе, привыкший энергично, без оглядки, пробиваться к цели, был настолько полон чувства собственного превосходства, что любое препятствие считал недопустимым вызовом себе, если не оскорблением. Проиграв первые две партии, он помрачнел и начал обстоятельно, диктаторским тоном объяснять, что этого не случилось бы, если бы не случайная его невнимательность. Третий проигрыш он отнес на счет шума в соседней гостиной. Ни одной проигранной партии он ни за что не желал оставить без реванша. Сначала его тщеславие и раздражительность забавляли меня, но потом я смирился, считая, что это единственный способ добиться своей настоящей цели — подманить к столу чемпиона мира.

На третий день мой план осуществился, правда, лишь наполовину. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходящий на верхнюю палубу, может быть, он просто решил почтить своим присутствием курительный салон, — во всяком случае, как только чемпион заметил, что в область его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на нашу доску. Был ход Мак Коннора. Одного этого хода было достаточно,

чтобы Чентович сразу понял, как мало интересны для него наши дилетантские усилия. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона.

«Сразу взвесил и решил, что игра не стоит свеч»,— подумал я. Меня немало уязвил его презрительный, холодный взгляд. Захотелось выместить свое раздражение на ком-нибудь, и я обратился к Мак Коннору:

— Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона?

— Какого чемпиона?

Я объяснил ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чентович, международный шахматный чемпион. Я добавил, что не следует расстраиваться из-за его пренебрежительного поведения: для бедняков гордость — непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти небрежные слова оказали на Мак Коннора совершенно неожиданное действие. Он мгновенно пришел в сильнейшее возбуждение и, полный честолюбивых замыслов, забыл о нашей игре. Он и не подозревал, что Чентович находится в числе пассажиров,— чемпион обязательно должен сыграть с ним! Ему только один раз удалось сыграть с чемпионом, и то, когда шел сеанс одновременной игры на сорока досках, но даже это было очень увлекательно, и он чуть-чуть не выиграл. Знаком ли я с чемпионом? Нет, не знаком. Не могу ли я попросить его сыграть с нами? Я отказался, сославшись на то, что Чентович, насколько я знаю, избегает новых знакомств. Кроме того, какой интерес может представлять для чемпиона мира игра с нами, третьеразрядными игроками?

Замечание о третьеразрядных игроках по отношению к человеку с сомнением Мак Коннора было, пожалуй, излишним. Он сердито откинулся назад и запальчиво заявил, что просто не представляет себе, чтобы Чентович мог отклонить джентльменский вызов. Об этом позаботится он сам. По его просьбе я в нескольких словах обрисовал ему особенности характера чемпиона, и Мак Коннор, оставив на произвол судьбы неоконченную партию, бросился разыскивать Чентовича на верхней палубе. Тут я снова почувствовал, что удержать обладателя таких мощных плеч, если он вбил себе что-нибудь в голову,— дело совершенно безнадежное.

Я напряженно ждал. Прошло десять минут, и Мак Коннор

вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа...

— Ну как? — спросил я.

— Вы были правы, — ответил с досадой Мак Коннор, — он не очень приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже не протянул руки. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеанса одновременной игры. Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, контракт с организаторами его турне обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение и что минимальный его гонорар — двести пятьдесят долларов за партию.

Я рассмеялся.

— Вот уж никогда не думал, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные — такое доходное дело. Надеюсь, что вы так же любезно откланялись?

Мак Коннор был, однако, совершенно серьезен.

— Матч состоится завтра в три часа дня здесь, в курительном салоне. Надеюсь, что он не так уж легко разобьет нас.

— Как? Вы обещали ему двести пятьдесят долларов! — вскричал я в совершенном изумлении.

— Почему же нет? Это его профессия. Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, ведь не стал бы он рвать его даром. Его право — заломить, сколько он хочет. Это везде одинаково. В любой профессии лучшие специалисты всегда бывают прекрасными коммерсантами. Что же касается меня, то я за чистые сделки. Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться в благодарностях. Мне случалось проигрывать за вечер в нашем клубе и больше двухсот пятидесяти долларов, но ведь мне не пришлось играть с чемпионом мира. «Третьеразрядному» игроку не стыдно проиграть Чентовичу.

Меня забавляло, как сильно невинные слова «третьеразрядные игроки» уязвили самолюбие Мак Коннора. Поскольку, однако, дорогое развлечение, позволявшее мне познакомиться с интересовавшим меня субъектом, оплачивалось им, я предпочел промолчать.

Мы поспешили известить о предстоящем событии еще четверых или пятерых человек, выявивших пристрастие к

шахматам, и потребовали оставить за нами для матча не только наш стол, но и все соседние, чтобы избежать всякой помехи со стороны остальных пассажиров.

На следующий день в назначенный час наша компания собралась в полном составе. Центральное место, напротив чемпиона, было, конечно, предоставлено Мак Коннору. Он нервничал, курил одну за другой крепкие сигары и беспокойно посматривал на часы.

Чемпион заставил ждать себя добрых десять минут (помня рассказы своего приятеля, я предвидел что-нибудь в этом роде), и это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым и спокойным видом, не поздоровался. Повидимому, его неучтивость должна была означать: «Вы знаете, кто я, а мне совсем не интересно знать, кто вы», — и сразу же сухим, деловым тоном начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для сеанса одновременной игры, он предлагает, чтобы все мы сообща играли против него. Сделав ход, он будет отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советоваться. Мы же, сделав ответный ход, должны будем, за неимением колокольчика, ударять по стакану чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает отвести на обдумывание каждого хода максимум десять минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные; он стоя сделал первый ответный ход, сразу повернулся и отошел в условленное место, где, лениво развалившись на стуле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал.

Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и должна была кончиться, полным нашим поражением и к тому же на двадцать четвертом ходу. Не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется, левой рукой, в пух и прах разбил полдюжины посредственных и совсем слабых игроков; но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно давал почувствовать, что разделался с нами без малейшего усилия. Каждый раз, подходя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито невнимательный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, как будто мы тоже были деревянными фигурами. Так, не потрудившись даже взглянуть на нее, бросают кость бродячей собаке. Мне казалось, что, будь у него хоть какая-то чуткость и такт, он должен был указать на наши ошибки или подбодрить нас дружеским словом. Даже закончив игру, этот

шахматный робот не произнес ни звука. Сказав «мат», он остался неподвижно стоять у стола, очевидно, желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было и, как всегда, пасуя перед бесцеремонной грубостью, готовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным, как только будут закончены финансовые расчеты. Но в это самое мгновение, к моей досаде, Мак Коннор, сидевший рядом со мной, хрипло произнес: «Реванш».

Меня испугал вызов в голосе Мак Коннора. Он больше напоминал боксера, готового нанести решающий удар, чем корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича, или причиной тому было его собственное большое самолюбие, но, как бы то ни было, даже внешне Мак Коннор совершенно изменился. Он был красен до корней волос, ноздри его раздулись, на лбу проступили капли пота, от закушенной губы к воинственно выдвинутому вперед подбородку залегли резкие складки. Я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти, охватывающей обычно игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает шесть или семь раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть, играть по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся за это дело, Мак Коннор мог оказаться для него настоящим золотым дном, и в кармане чемпиона появилось бы несколько тысяч долларов, прежде чем на горизонте завиделся бы Буэнос-Айрес.

Чентович попрежнему стоял неподвижно.

— Пожалуйста, — вежливо проговорил он. — Теперь, господа, вы будете играть черными.

Вторая игра мало чем отличалась от первой, только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей и стала оживленной. Мак Коннор пристально смотрел на доску, словно хотел загипнотизировать шахматные фигуры и подчинить их своей воле. Я чувствовал, что он с восторгом пожертвовал бы тысячу долларов за удовольствие крикнуть «мат» в лицо нашему хладнокровному противнику. И странно, его угрюмое волнение бессознательно заразило всех нас. Каждый ход обсуждался с гораздо большей страстностью, чем прежде, и мы спорили до самого последнего момента, прежде чем соглашались дать сигнал Чентовичу. Дойдя до семнадца-

того хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, выглядывшая поразительно выгодной: мы сумели продвинуть пешку «с» на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать,— это продвинуть ее вперед на с1. Мы получали второго ферзя! Однако мы не были вполне спокойны: нам не верилось, что у нас действительно появится такой очевидный шанс на выигрыш. Все мы подозревали, что преимущество, которое мы, казалось, вырвали, было не чем иным, как ловушкой, расставленной Чентовичем, предвидевшим развитие игры на много ходов вперед. И все же, как мы ни обсуждали и ни рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключается подвох. Наконец, когда десять минут уже почти истекли, мы решили рискнуть сделать этот ход. Мак Коннор уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его и тихий, но настойчивый голос произнес:

— Ради бога, не надо!

Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет сорока пяти, с узким, резко очерченным лицом, который уже раньше на прогулках привлек мое внимание необычной мертвенной бледностью своего лица. Видимо, он только что присоединился к нашей компании, и мы, погруженные в обсуждение своей задачи, не заметили его появления. Увидев, что мы смотрим на него, он торопливо продолжал:

— Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого вы снимете конем. Он же в это время продвинет свою проходную пешку на d7 и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шах конем, все равно партия для вас будет потеряна — через девять или десять ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил Алехин в 1922 году, играя против Боголюбова в шахматном турнире в Пистиане.

Пораженный Мак Коннор выпустил из рук пешку и, как и все мы, с немым удивлением уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за девять ходов мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний; может быть, он направлялся на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Как бы то ни было, его внезапное появление, его вмешательство в игру в самый критический момент показались нам чем-то сверхъестественным.

Первым пришел в себя Мак Коннор.

— Что же вы посоветуете? — прошептал он возбужденно.

— Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего выведите короля из опасной зоны — с g8 на h7. Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи с8 — с4. Это ему будет стоить потери двух темпов и одной пешки и, таким образом, всего преимущества. В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки, и если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничьей. Это — лучшее, что вы можете сделать.

Мы снова остолбенели. Точность и быстрота его расчетов ошеломили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть вничью с чемпионом мира — это было так заманчиво! Как стоворившись, мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску.

Мак Коннор переспросил:

— Значит, короля с g8 на h7?

— Конечно. Сейчас самое главное — уклониться.

Мак Коннор повиновался, и мы постучали по стакану.

Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и по-мострел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку с h2 на h4 на королевском фланге — точно так, как предсказывал наш таинственный помощник.

А тот уже шептал взволнованно:

— Ладью вперед, ладью с c8 на c4, тогда ему придется сначала защитить пешку! Но это ему не поможет! Не обращайтесь к нему с его проходную пешку, бейте конем c3:d5, и тогда равновесие восстановится. Атакуйте, вместо того чтобы защищаться.

Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски. Мак Коннор, как зачарованный, без размышления делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут впервые он помедлил перед ходом, внимательно взглядываясь в доску. Ход он сделал как раз тот, который предугадывал незнакомец. Затем он повернулся, чтобы идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное: Чентович поднял глаза и оглядел наши ряды. Совершенно очевидно, он хотел выяснить, кто это из нас вдруг оказал ему такое энергичное сопротивление.

Наше волнение возрастало с каждой минутой. Раньше мы играли без серьезной надежды на выигрыш, а сейчас мысль

о том, что мы можем сломить холодную надменность Чентовича, воодушевляла всех. Не теряя ни минуты, наш новый друг указал следующий ход. Можно было приглашать Чентовича продолжать игру. Дрожащей рукой я ударил ложкой по стакану, и тут настало время нам торжествовать: Чентович, до тех пор делавший ходы стоя, помедлил, помедлил и в конце концов сел за стол. Опустился он на стул медленно и тяжело, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мы наконец оказались игроками «одного уровня», хотя бы только в прямом смысле этого слова. Мы заставили его обращаться с нами, как с равными, по крайней мере, внешне. Он сидел неподвижно, пристально смотря на доску и обдумывая ход; его тяжелые веки почти совсем прикрыли глаза. От напряженного размышления рот его слегка приоткрылся, это придавало ему глуповатый вид. Чентович думал несколько минут, потом сделал ход и встал.

И сразу же наш друг прошептал:

— Пат. Хорошо задумано. Но не идите на это. Форсируйте размен. Обязательно размен! После этого будет ничья, он ничего не сможет сделать.

Мак Коннор повиновался. Последующие маневры обоих игроков (мы-то все уже давно превратились в простых статистов) состояли в непонятных нам передвижениях фигур. Примерно через семь ходов Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал: «Ничья».

На мгновение воцарилась полная тишина. Вдруг сразу стали слышны и шум моря, и звуки радио из соседней гостиной, и каждый шаг на верхней палубе, и тонкий свист ветра в оконных рамах. Мы не смели пошевелиться. Все произошло так внезапно, мы просто были напуганы: неизвестно откуда взявшийся человек заставил подчиниться своей воле чемпиона мира, и к тому же в наполовину проигранной партии! Только Мак Коннор шумно перевел дыхание, откинулся назад, и с его губ сорвалось удовлетворенное «Ага!» Я снова внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион мира умел держать себя в руках. Попрежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил:

— Желаете сыграть третью партию, господа?

Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном, но удивительно было то, что чемпион как бы совершенно не замечал Мак Коннора, а пристально смотрел прямо в глаза нашему извавителю. Как лошадь по лучшей посадке узнает но-

вого, опытного всадника, так и Чентович разгадал, кто, собственно, был его настоящим и единственным противником. Вслед за ним и мы невольно устали на неизвестного. Но не успел тот ответить, как, охваченный честолюбивым азартом, Мак Коннор торжествующе воскликнул:

— Конечно, без всякого сомнения! Но только на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича.

И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление. Видя, что все взгляды устремлены на него, он смутился.

— Ни в коем случае, господа,— сказал он, запинаясь, в явном замешательстве,— это невозможно... Вам придется обойтись без меня... Ведь прошло уже двадцать, нет, даже двадцать пять лет с тех пор, как я сидел за шахматной доской. Я только сейчас понял, до чего невежливо поступил, вмешавшись без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость. Больше я не буду вам мешать.

И прежде, чем мы успели оправиться от изумления, он повернулся и вышел из комнаты.

— Но это невозможно! — грохотал пылкий Мак Коннор, стуча кулаком по столу. — Совершенно исключено, чтобы он двадцать пять лет не играл в шахматы! Да ведь он предвидел каждое положение, каждый встречный маневр, по крайней мере, за пять или шесть ходов. Из пальца этого не высосешь. Это просто невероятно, не правда ли?

С последним вопросом Мак Коннор невольно обратился к Чентовичу, но чемпион не утратил ледяного спокойствия.

— Не могу ничего сказать на этот счет. Во всяком случае, в игре этого господина было что-то не совсем обычное и интересное; потому-то я намеренно дал ему возможность развить игру по его плану.

Тут же он лениво поднялся и деловито закончил:

— Если этот господин или вы, господа, захотите завтра сыграть еще партию, то с трех часов я буду в вашем распоряжении.

Мы не могли подавить легких улыбок. Каждый из нас прекрасно понимал, что отнюдь не великодушие заставило Чентовича уступить победу нашему неизвестному помощнику. Замечание его было не чем иным, как наивной попыткой скрыть свое поражение, и оно только усилило наше желание быть свидетелями полного посрамления этого непоколебимого высокомерия.

Всех нас, праздных мореплавателей, вдруг охватил дикий, честолюбивый азарт. Нас пленяла мысль, что здесь, на нашем пароходе, в открытом океане, пальма первенства будет вырвана из рук чемпиона и все телеграфные агентства разнесут весть об этом событии по всему миру. К этому нужно добавить, что нас заинтриговало в нашем спасителе все: таинственность его появления, вмешательство в игру в самый критический момент, контраст между его болезненной застенчивостью и непоколебимой самоуверенностью профессионала. Кто же этот известный? Может быть, на наших глазах случайно открылся миру доселе неизвестный шахматный гений? Или это был знаменитый мастер, по какой-либо причине не пожелавший открыть свое имя? Мы горячились, на все лады обсуждая каждую из этих возможностей. Самые невероятные предположения уже не казались нам невероятными, когда мы вспоминали его непонятную робость, его неожиданное заявление, что он не играл уже много лет, и сопоставляли все это с очевидным мастерством его игры. В одном, однако, мы сходились все: надо сделать так, чтобы турнир продолжался. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть завтра против Чентовича. Мак Коннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника — мы тем временем узнали от стюарда, что незнакомец был австрийцем, — уполномочили передать ему нашу общую просьбу.

Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шезлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. Виски у него были совершенно белые. Не знаю, почему, но у меня сложилось впечатление, что постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой — придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, против знаменитого чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель междуна-

родных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако, чувствуя, что имею дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения Мак Коннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б. согласился принять участие в матче, но просил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности.

— Потому что,— добавил он со странной улыбкой,— я, право, не знаю, смогу ли играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше двадцати лет, я сказал это не из ложной скромности. И даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист.

Это было сказано настолько просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов. Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылался на мельчайшие подробности партий, сыгранных различными мастерами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры?

Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой:

— Много времени? Что правда, то правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе. Может быть, у вас хватит терпения на полчаса?..

Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольствием принял приглашение. Вблизи не было никого. Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал:

— Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, уроженцу Вены, известна. Я полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о юридической конторе, которой руководили сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызвали шум в газетах, и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной партии. Кроме того,— об этом можно говорить открыто теперь, когда монархия уже стала достоянием истории,— нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорской семьи.

Связи нашей семьи с двором и церковью (один мой дядя был личным врачом императора, а другой — аббатом в Зейтентеттене) восходят еще к предыдущим поколениям; нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные, спокойные обязанности. От нас требовались главным образом осторожность и надежность — качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и в переходное время. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и начался захват владений церковью и монастырями, с той стороны границы были предприняты некоторые шаги для спасения от конфискации хотя бы движимого имущества. Переговоры шли через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны только нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна, у нас не было даже вывески на двери, мы подчеркнуто держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти и не подозревали, что в течение всех этих лет тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже письма чрезвычайной важности и ввозили ответы на них.

Как известно, еще задолго до того, как армии нацистов подняли оружие против всего света, они начали создавать во всех соседних с ними странах не менее вышколенные и не менее опасные военизированные формирования из людей обойденных, отверженных и обиженных. Их так называемые ячейки были в каждой конторе, в каждом предприятии, у них были шпионы и сыщики везде, включая личные резиденции Дольфуса и Шушница. Их агент был и у нас в конторе, о чем, увы, я узнал слишком поздно. Это был жалкий и неспособный чинуша, которого я взял по рекомендации одного священника для того, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения: он отвечал на телефонные звонки и раскладывал по папкам бумаги, — разумеется, бумаги, не имеющие сколько-нибудь серьезного значения. Ему не разрешалось вскрывать почту. Самые важные письма печатал я сам и не оставлял копий. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря

этим мерам предосторожности шпион, приставленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, повидимому, несчастная случайность открыла глаза этому тщеславному человеку, и он понял, что мы ему не доверяем, что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, что в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал «его величество» вместо обусловленного «барон Берн». Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил мандат из Берлина или из Мюнхена и распоряжение вести за нами слежку. Уже много позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, вдруг стал проявлять в последние месяцы рвение: он все время и настойчиво предлагал мне отправлять письма. Признаюсь, я допустил известную долю неосторожности, но, если уж на то пошло, разве Гитлер не сумел обойти и перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени? Гестапо следило за мной неотступно,— это было наглядно подтверждено тем фактом, что эсэсовцы арестовали меня вечером того самого дня, когда отрекся Шушниц, и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь Шушница, я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей и принадлежавшие монастырям и двум эрцгерцогам, спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже вламывались ко мне в дом.

Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы закурить сигару. При свете спички я увидел, что правый угол его рта нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание. Оно повторялось каждые две—три минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение.

— Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концлагерном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не произошло. Я был отнесен к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами вымещали накопившуюся злобу; я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса, но они

догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имуществ и доверенными людьми их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки уличающие документы против монастырей, чтобы выдвинуть против них обвинение в сокрытии капиталов; они хотели получить и материалы против императорского дома и других приверженцев монархии. Они подозревали, и не без основания, что значительная часть фондов, которыми мы распоряжались, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Поэтому-то они и арестовали меня в первый же день: они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений.

По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы помните, наверное, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку; напротив, им были предоставлены всякие привилегии: они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где помещался штаб гестапо. Тот же почет выпал и на мою долю, несмотря на то, что я был довольно незначительной личностью.

Отдельная комната в отеле — звучит исключительно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создать нам человеческие условия. Вместо того, чтобы затолкнуть нас, «видных людей», в ледяные бараки по двадцать человек в комнатухе, они предоставили нам довольно теплые гостиничные комнаты; но ими в этом руководил тонкий расчет. Получить от нас нужные показания они собирались не с помощью обычных избиений и истязаний, а применив более утонченную пытку — пытку полной изоляцией. Они ничего с нами не делали. Они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставит нас заговорить.

На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления: в ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, окно с железной решеткой. Но дверь была заперта днем и ночью; на столе не было ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги; окно выходило на кирпичную стену; мое «я» и мое тело находились в пустоте. У меня отобрали все: часы, чтобы я не знал времени, каран-

даш, чтобы я не мог писать, перочинный нож, чтобы я не мог вскрыть вены, даже невинное утешение — сигареты были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему было запрещено разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов, с рассвета и до ночи у меня не было никакой пищи для глаз, для слуха, для других моих чувств. Я был наедине сам с собой и с четырьмя или пятью неодушевленными предметами — столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как водолаз в своем скафандре на дне мрачного океана, и притом как водолаз, смутно понимающий, что спасительный канат обрван и что его никогда не поднимут из этой безмолвной глубины...

Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам, это была пустота без времени и пространства... Можно было ходить взад и вперед, и за тобой все время следовали твои мысли... Вперед и назад, вперед и назад. Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно вращаться вокруг самих себя: они тоже не выносят пустоты.

Можно было с утра и до вечера ждать чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал снова и снова — и ничего не происходило. И так ждешь, ждешь, ждешь, думаешь, думаешь, думаешь, пока не разболится виски. Ничего. Один, один, один...

Так продолжалось две недели. Я жил вне времени, вне жизни. Если бы началась война, я никогда не узнал бы об этом: мой мир был ограничен столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, как я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то стальным резцом повторяет их зигзагообразный рисунок у меня в мозгу.

Наконец начались допросы. Вызывали неожиданно, — неизвестно было, день сейчас или ночь. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели люди в форме. На столе лежали кипы бумаг, документы, содержания которых вы не знали; потом начинались вопросы — нужные и ненужные, прямые и притворные, вопросы-ширмы и вопросы-ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано, и чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах для ме-

ня было то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производившихся в моей конторе, и что они стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей экономке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы? Что именно знал мой служащий? Какие письма он перехватил? Что могли они выведать у какого-нибудь туповатого священника в одном из монастырей, делами которых мы занимались?

А они все спрашивали и спрашивали. Какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? С какими банками я имел деловые сношения? Знал ли я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швейцарией и еще бог знает с каким местом? Я не мог предусмотреть, что они уже раскопали, и каждый мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали, я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар; продолжая все отрицать, я вредил себе.

Но допросы были не самое худшее. Худшим было возвращение после допроса в пустоту — в ту же комнату, с тем же столом, той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что происходило на допросе, размышлять, как я мог бы умнее ответить на их вопросы, обдумывать, что я скажу в следующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное моим необдуманнм замечанием.

Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал каждое слово, сказанное следователю, восстанавливал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался разобраться, какая же часть моих показаний заносится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рассчитать и установить все это просто невозможно. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новые предположения, отравляя даже мой сон.

Каждый раз вслед за допросом в гестапо за работу безжалостно принимались мои собственные мысли, они вновь воспроизводили муки и терзания допроса, и это было, пожалуй, еще более ужасно, потому что у следователя все, по крайней мере, кончалось через некоторое время, а повторение этого в моем сознании, скованном коварным одиночеством, не кончалось никогда. Со мной попрежнему были стол, комод, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем, не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым мо-

жно было бы что-то записать, ни спички, чтобы повертеть в пальцах, ничего, ничего.

Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была придумана эта система тюремной одиночки в отеле. В концентрационном лагере, возможно, приходилось бы катать камни, пока не сотрутся в кровь руки и не застынут ноги в ботинках, жить в одной вонючей и холодной камерке с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было бы, на чем остановить взгляд... Здесь же вокруг никогда ничто не менялось, до умопомрачения оставалось неизменным. Ничего не менялось и в моих мыслях, в моих призрачных идеях и болезненных расчетах. Этого они и добивались: они хотели, чтобы мысли душили меня, душили до тех пор, пока я не начал бы задыхаться — тогда у меня не было бы иного выхода, как сдаться и, наконец, признать, признать все, что им было нужно, и выдать документы и людей.

Постепенно я стал чувствовать, что под страшным давлением пустоты мои нервы начинают сдавать. Понимая всю опасность этого, я до крайнего предела напрягал свою волю и, чтобы не потерять окончательно контроля над собой, старался хоть чем-нибудь отвлечься. Я декламировал стихи, старался восстановить в памяти все, что когда-то знал, — народные песни, стишки, знакомые с детства, Гомера школьных дней, параграфы Гражданского уложения. Потом я стал решать арифметические задачки, складывал и делил в уме самые разнообразные цифры, но в пустоте мое сознание не находило, за что уцепиться. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу появлялась все та же мысль и стремительно начинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера, что я должен буду сказать в следующий раз?

Такое неопишуемое состояние тянулось четыре месяца. Четыре месяца — это легко написать, всего лишь двенадцать букв; легко и сказать — всего несколько слогов; губы воспроизведут в четверть секунды эти звуки: четыре месяца! Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Этого не расскажешь, и не опишешь, и никому не объяснишь, как губит и разрушает человека пустота вокруг него — одна пустота.

По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показан-

ния спокойно и осторожно и отчетливо знал, что я должен сказать и чего не должен. Теперь же все, что я мог,— это, запинаясь, связывать простейшие фразы, потому что глаза мои были неотступно прикованы к перу, которое несло по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть, и больше. Для того, чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам их тайны, выдам безо всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку.

Однажды вечером дошло до того, что, когда тюремный надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед:

— Отведите меня к следователю! Я хочу во всем признаться! Я скажу им, где находятся бумаги и деньги! Я все скажу им! Все!

Но, к счастью, он уже не слышал меня или не хотел слышать.

И вот в этот момент крайней безнадежности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля, день был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, через который меня вели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей соседнего отдела. Перед допросом всегда заставляли долго ждать, это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать, сидеть перед закрытой дверью час, два, три часа,— эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы утомить вас физически и сломить морально. В тот четверг, 27 июля,— есть особые причины, почему я так хорошо запомнил это число,— они продержали меня особенно долго, часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда не разрешали садиться, и за два часа ноги мои совершенно одеревенели. В комнате, где я ждал, висел календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то написанное, поэтому-то я с таким вниманием уставился на эти цифры и буквы: «27 июля». Я просто пожирал их взгля-

дом. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя на дверь, думая: когда же она наконец отворится? Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно понимал, что спросят они что-то совершенно противоположное тому, к чему я подготовился. И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность и физическую усталость,—ведь я находился в другой, не своей комнате! Эта комната была чуть больше той, с двумя окнами вместо одного, без кровати, без умывальника и без миллион раз виденной трещины на подоконнике. Дверь была окрашена в другой цвет, у стены стояло другое кресло, а налево шкаф для бумаг и вешалка, на которой висели три или четыре мокрые военные шинели, шинели моих учителей. Передо мной было что-то новое — свежее зрелище для голодных глаз, и я жадно впитывал все подробности.

Я рассматривал каждую складку на шинелях; я заметил, например, что с одного из мокрых воротников свисает капля, и — вам это, наверное, покажется смешным — я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и скатится вниз или сумеет преодолеть земное притяжение и удержится на месте. Честное слово, в течение нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за этой каплей, как будто бы от нее зависела моя жизнь. Когда капля наконец скатилась вниз, я принялся пересчитывать пуговицы на шинелях,— на одной было восемь, на другой столько же, на третьей десять. Потом я сравнивал знаки отличия. Я даже не буду пытаться рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские, ненужные мелочи, как они дразнили и насыщали мои голодные глаза. И вдруг совершенно неожиданно я увидел нечто такое, что окончательно приковало мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной шинели слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. КНИГА!

Вот уже четыре месяца, как я не держал в руках книги, так что самая мысль о том, что слова могут складываться в строчки, строчки — составлять страницы, печатные листы и, наконец, книгу, книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные доселе, интересные идеи,— все это одновременно возбуждало и одурманивало меня.

Я, как загипнотизированный, смотрел на оттопыренный карман, в котором лежала книга, смотрел с такой страстью, будто хотел прожечь взглядом дыру в шинели. Пришел момент,

когда я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе.

К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение; по всей вероятности, он находил естественным, что человеку, простоявшему на ногах два часа, хочется опереться о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно было что-то прямоугольное, гнущееся, мягко хрустящее,— книга, книга! И вдруг меня ужалила мысль: «Укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, читать, наконец-то снова читать!» Едва только эта мысль возникла у меня в голове, яд ее начал молниеносно действовать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце, похолодевшие пальцы отказывались слушаться. Но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками вытаскивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше, потом рывок — я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась книжонка небольшого формата.

Только тут я испугался того, что сделал. Отступить было невозможно. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее придерживал пояс, потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удерживать книгу на месте, прижав по-военному руки по швам. Нужно было испробовать этот способ: Я сделал шаг от вешалки, два шага, три шага. Прекрасно! Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно будет унести с собой.

Потом начался допрос. Он потребовал от меня большего напряжения, чем обычно: отвечая на вопросы, я много усилий употреблял на то, чтобы крепко держать книгу. К счастью, допрос на этот раз был непродолжителен, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас подробностями; скажу только, что в коридоре на обратном пути был очень опасный момент: книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы иметь причину согнуться и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свое чистилище! Я был попрежнему один и в то же время больше не один.

Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего я принялся смаковать радость обладания ею; мне хотелось долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что за книга украдена мною. Мне хотелось, чтобы она была с очень мелким, тесно поставленным шрифтом, чтобы в ней было много-много букв и много-много тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Я мечтал о том, чтобы чтение этой книги обязательно требовало умственного напряжения,— мне не надо было ничего легкого, плоского. Хорошо, если бы в ней были места для запоминания наизусть, стихи. Хорошо, если бы это был — дерзкая мечта! — Гомер или Гёте. Наконец я больше не мог совладать со своим жадным любопытством. Растянувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрение надзирателя,— на случай, если бы он неожиданно открыл дверь,— я вытащил из-за пояса книгу.

Первый взгляд, брошенный на нее, вызвал у меня не просто разочарование, а жгучее чувство досады. Моя добыча, похищение которой было связано с такой чудовищной опасностью и вызвало такие пылкие надежды, оказалась всего лишь пособием по шахматной игре, сборником ста пятидесяти шахматных партий, иггранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я выбросил бы книгу в припадке ярости за окошко. Какая польза, ну какая польза была мне от подобной ерунды? Как большинство гимназистов, я изредка для препровождения времени играл в шахматы. Но для чего нужна была мне эта теоретическая дребедень?

В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-нибудь для чтения — какое-нибудь введение или пояснение,— но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями: a2 — a3, Kf1 — g3 и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно я догадался, что буквы а, в, с обозначали вертикальные ряды, а цифры 1—8 — горизонтальные и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили.

«Кто знает,— думал я,— если мне удастся смастерить в камере подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыгрывать эти партии». Бордюр простыни, на котором проступала

грубая клетка, показался мне даром небес. После некоторых манипуляций у меня оказалось поле, расчерченное на шестьдесят четыре квадрата. Я вырвал из книжки первый лист и спрятал ее под матрац. Потом принялся из хлебного мякиша лепить короля, ферзя и другие фигуры (результаты, конечно, были смехотворны) и, наконец, преодолев бесконечные трудности, смог воспроизвести на краю простыни одну из позиций, приведенных в книге. Но, когда я попытался разыграть всю партию, выяснилось, что несчастные фигурки, половину которых в отличие от «белых» я покрыл пылью, совершенно не годились для моей цели. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха, я начинал партию снова и снова — пять, десять, двадцать раз. Но у кого еще было столько ненужного свободного времени, как у меня, пленника окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение?

Мне потребовалось шесть дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через восемь дней я только однажды использовал простыню, чтобы закрепить в памяти позиции шахматных фигур, а еще через восемь дней мне не нужна была и простыня. Абстрактные понятия a1, a2, c3, c8 автоматически превращались в моем воображении в четкие пластические образы. Переход этот совершился без всякого затруднения. Силой воображения я мог воспроизвести в уме шахматную доску и фигуры и благодаря строгой определенности правил сразу же мысленно охватывал любую комбинацию — так опытный музыкант, только взглянув на ноты, слышит партию каждого инструмента в отдельности и все голоса вместе.

Еще через две недели я без всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти или, говоря языком шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту! Сто пятьдесят партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства.

С тех пор, стараясь сохранить очарование новизны, я начал точно делить свой день: две партии утром, две партии после обеда и краткий разбор партий вечером. Так мой день, до этого бесформенный, как студень, оказался заполненным. Мое новое занятие не утомляло меня: замечательная особенность шахмат состоит в том, что ум, строго ограничив поле своей

деятельности, не устает даже при очень сильном напряжении, напротив, его энергия обостряется, он становится более живым и гибким.

Сначала я разыгрывал партии механически, но постепенно, снова и снова повторяя мастерски проведенные комбинации и атаки, я начал находить в этом эстетическое удовольствие. Я научился различать тонкости, уловки, хитрости нападения и защиты, уразумел, как можно предвидеть развитие игры за несколько ходов вперед, как намечается и осуществляется атака и контратака, и скоро мог распознавать индивидуальную манеру игры каждого чемпиона, распознавать так же безошибочно, как по нескольким строчкам стихотворения можно назвать поэта.

И то, что вначале служило только средством коротать время, стало наслаждением, и непревзойденные стратегии шахматного искусства — Алехин, Ласкер, Боголюбов, Тартаковер, — как дорогие друзья, разделяли со мной одиночество камеры.

Да, теперь уже я не был одинок в своей безмолвной камере. Регулярные занятия шахматами способствовали тому, что мои начавшие было сдавать умственные способности стали восстанавливаться. Освеженный мозг снова работал, как прежде, и даже стал еще более гибким и острым. Прежде всего восстановленная способность ясно и логично мыслить сказалась на допросах. За шахматной доской я бессознательно выработал в себе умение защищаться против ложных угроз и замаскированных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что гестаповцы начали относиться ко мне с известным уважением. Их, возможно, удивляло, из какого неведомого источника черпаю я силы для дальнейшего сопротивления, когда уже столько людей пришло на их глазах в полный моральный упадок.

Счастливым период, в течение которого я систематически, день за днем, разыгрывал эти сто пятьдесят партий, напечатанных в сборнике, продолжался два с половиной — три месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной снова была пустота. К этому времени я уже по двадцать — тридцать раз проштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена, комбинации больше не волновали меня, не заражали энергией. Было бесцельно повторять без конца партии, в которых я давно уже наизусть знал каждый ход. Стоило мне начать, как вся игра разворачивалась передо мной, как на ладони, в ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы я мог достать

новую книгу, с новыми партиями и наново заставить работать свой мозг! Но это было невозможно, и у меня оставался только один выход: вместо старых, хорошо знакомых партий самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам с собой, или, вернее, против себя.

Доктор Б. откинулся в шезлонге и на минуту закрыл глаза. Казалось, он усилием воли старается рассеять мучающие его картины пережитого. Уголок рта его снова непроизвольно дернулся. Потом он опять уселся прямое.

— Так вот, мне кажется, что пока все должно было быть вам понятно. Но, к сожалению, я не уверен, что так же ясно будет для вас и то, что произошло в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие потребовало такого всеобъемлющего напряжения ума, что какой бы то ни был контроль над остальной его деятельностью стал совершенно невозможен. По моему мнению, игра в шахматы с самим собой — бессмыслица, но все же существовала бы какая-то минимальная возможность для такой игры, если бы передо мной была шахматная доска, потому что доска, будучи осязаемым предметом, создавала бы известное чувство пространства, намечала бы какую-то материальную границу между «игроками». Играя за настоящей шахматной доской с настоящими шахматными фигурами, можно установить определенное время для обдумывания каждой позиции, можно сесть сначала с одной стороны и представить себе, как выглядит вся картина для черных, а потом — как она представляется белым. Но так как игру против себя, или, если угодно, с собой, я должен был вести на воображаемой доске, то мне приходилось непрерывно удерживать в уме положение всех фигур на шестидесяти четырех квадратах, и притом не только положение в данный момент, но и рассчитывать вперед все возможные ходы обоих противников. Я прекрасно понимаю, что все это звучит как совершенное безумие; для каждого из своих «я» мне приходилось представлять себе каждую позицию дважды, трижды, да нет, больше — шесть раз, двенадцать раз, да еще на четыре или пять ходов вперед.

Пожалуйста, простите, что я заставляю вас разбираться во всей этой сумасшедшей путанице. Разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед в качестве белых и столько же ходов в качестве черных, должен был взвешивать все возникающие комбинации то с точки зрения черных, то с точки зрения белых, иначе говоря, сочетать в одном своем уме ум

черных и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в раздвоении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был играть самостоятельно мною же придумываемые партии и то и дело терял всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо: я просто повторял сделанную игру, воспроизводил уже данное. Для этого не требовалось большего напряжения, чем, скажем, для того, чтобы выучить наизусть стихи или запомнить статьи какого-либо закона. Это было систематическое, дисциплинирующее занятие и потому прекрасное упражнение для мозга. Две партии до и две после обеда представляли собой определенное задание, которое я исполнял совершенно спокойно; оно как бы заменяло мне прежние повседневные занятия. И, кроме того, если я ошибался в процессе игры или забывал следующий ход, я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что изучение чужих партий никак не затрагивало моего «я», оно так благотворно и успокаивающе действовало на мои расшатанные нервы. Мне было абсолютно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались Алехин или Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я» — белое и черное — должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба «я» попеременно торжествовали, когда другое «я» делало неправильный ход, и раздражались, когда сами допускали подобную оплошность.

Все это выглядит совершенно дико, и, конечно, эта искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями было бы невымыслимым у человека, находящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, однако, что из нормальных условий я был грубо вырван, без всякой вины брошен за решетку, многие месяцы подвергался утонченной пытке — пытке одиночеством. Накопившаяся во мне ярость должна была рано или поздно на что-то излиться. Но так как моим единственным занятием была эта бессмысленная игра против себя самого, то мой гнев, мое стремление отомстить фанатически воплотились именно в этой игре. Я хотел мстить, но для этого у меня было только мое второе «я», с которым я должен был вести непрерывную

борьбу. Вот почему во время игры меня охватывало бешеное возбуждение. Первое время я еще мог проводить эти игры спокойно и рассудительно, делал перерывы между партиями, чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные нервы перестали выносить эти передышки. Стоило только белому «я» сделать ход, как черное «я» уже лихорадочно передвигало фигуру, и как только заканчивалась одна партия, я тут же требовал от себя следующей, вернее, каждый раз, как одно мое шахматное «я» терпело поражение, оно немедленно требовало у другого «я» реванша.

Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой безумной жадностью, за долгие месяцы своего заключения,— может быть, тысячу, а может быть, даже больше. Это было наваждение, против которого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. У меня в мозгу непрерывно вертелись «а», «в» и «с», мат и рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты доске. Удовольствие от игры превратилось в страсть, страсть превратилась в бешенство, манию; она заполняла не только часы бодрствования, но впоследствии и время сна. Я мог думать только о шахматах, о шахматных ходах, шахматных задачах. Иногда я просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел сны о людях, то в моих снах они двигались ходом коня или ладьи, наступали и отступали подобно шахматным фигурам.

На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво и туманно: следователи как-то странно переглядывались между собой. На самом же деле, пока они задавали мне вопросы и размышляли над моими ответами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня отвели назад в мою камеру, где я смог бы снова заняться своим сумасшедшим делом: начать новую игру, еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те пятнадцать минут, пока надзиратель прибирал мою камеру, те две минуты, пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я забывал о нем. Единственное физическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка осушал бутылку воды и умолял надзирателя принести мне еще, но через минуту рот мой совершенно пересыхал.

Постепенно я стал приходить во время игры в такое возбуждение — к тому времени я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом, — что больше уже не мог ни на минуту оставаться в спокойном состоянии.

Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере — туда и назад, туда и назад, все ускоряя шаги, вперед и назад, вперед и назад. И чем ближе подходила развязка игры, тем быстрее я метался из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой, доводила меня до иступления. Я трясся от нетерпения, потому что одно из моих шахматных «я» всегда отставало от другого. Одно «я» подхлестывало другое, и — я понимаю, что вам это должно казаться идиотством, — когда одно из моих «я» недостаточно быстро реагировало на ход, сделанный другим «я», я злобно выкрикивал «скорее, скорее!» или «дальше, дальше!» Разумеется, сейчас я полностью отгаду себе отчет в том, что мое тогдашнее состояние было не чем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами».

Пришло время, когда эта мономания, это наваждение стало оказывать разрушительное действие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я сильно исхудал, мой сон стал тревожен; проснувшись, я с большим усилием подымал тяжелые веки. Я чувствовал себя, как после перепоя, и руки мои так дрожали, что я не мог поднести стакан ко рту. Но как только началась игра, меня охватывала бешеная энергия. Я носился вперед и назад со сжатыми кулаками, и время от времени через красноватый туман ко мне доносился мой собственный голос, злобно и хрипло кричавший «шах» или «мат».

Не знаю, когда наступил кризис, разрешивший это ужасное, неопишемое состояние. Знаю только, что однажды утром я проснулся, и пробуждение мое было совсем необычно. Я больше не ощущал тяжести во всем теле. Мне было легко и покойно. Благотворная усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, лежала на веках, и мне было так уютно и приятно, что я просто не мог заставить себя открыть глаза. Некоторое время я лежал и наслаждался чувством истомы, приятного оцепенения.

Вдруг я услышал недалеко от себя живые человеческие голоса, услышал слова, произнесенные тихо и осторожно. Вы не можете представить себе мой восторг! Ведь прошло уже много месяцев, — может быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, жестких, злых слов моих мучителей.

«Ты спишь,— сказал я себе,— ты спишь. Ни за что не открывай глаз, пусть этот сон продлится как можно дольше, иначе ты снова увидишь ту же проклятую камеру, с тем же стулом, умывальником, столом, обои с тем же неизменным рисунком. Ты спишь, продолжай спать».

Но любопытство одержало верх. Медленно, осторожно я открыл глаза. Свершилось чудо. Я был в другой комнате, более просторной, чем моя камера. На окне не было решетки, в него свободно струился свет, за окном вместо кирпичной стены виднелись деревья, зеленые деревья, и ветер играл их ветками. Стены в комнате были белые и блестящие, потолок тоже белый и высокий. Я лежал в новой, непривычной постели, и — нет, это был не сон — возле меня слышался тот же шепот.

Сам не желая того, я сделал от удивления резкое движение. И сразу же услышал, что кто-то направился к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла женщина в белой наkolке. Сиделка. Сестра. Я не мог придти в себя от счастья, Целый год я не видел женщины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное видение, и, наверное, в моем взгляде было такое безумное волнение, что она остановила меня: «Тише, лежите спокойно».

Я прислушался только к ее голосу: неужели со мной разговаривал человек? Неужели на земле еще существуют люди, которые не собираются допрашивать и мучить меня? И потом — о непонятное чудо! — это был голос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал, даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее губы — после года в аду мне казалось невероятным, что один человек может ласково говорить с другим. Она улыбнулась мне, да, она улыбнулась! Значит, на свете еще есть люди, которые могут приветливо улыбаться. Потом она приложила палец к губам и бесшумно отошла. Но повиноваться ей я не мог. Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть и проводить глазами это дивное, ласковое создание. Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати, я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел что-то постороннее — большой, тяжелый белый предмет. Должно быть, вся моя рука была забинтована. Я с удивлением смотрел на этот предмет и начал мучительно соображать: где я и что случилось со мной? Они каким-то образом ранили меня или я сам повредил себе руку? Я понял, что лежу в больнице.

В полдень пришел врач, приятный на вид пожилой человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать почувствовать,

что хорошо ко мне расположен, с большим уважением отозвался о моем дяде — придворном враче. Во время разговора он задавал мне разные вопросы. Один из его вопросов меня особенно удивил: кто я — математик или химик?

Я ответил отрицательно.

«Странно,— пробормотал он,— в бреду вы все время выкрикивали какие-то неизвестные формулы с3, с4. Мы ничего не могли понять».

Я спросил его, что случилось со мной. Он загадочно усмехнулся.

«Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы.— Оглянувшись по сторонам, он тихо добавил: — Это вполне понятно. Вы ведь... с 13 марта?..»

Я кивнул головой.

«Ничего удивительного при их системе. Не вы первый. Но не беспокойтесь».

Его уверенный тон и сочувственная улыбка убедили меня, что я в безопасности.

Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель, услышав крики, доносившиеся из моей камеры, подумал сначала, что я спорю с кем-то, проникшим ко мне; но как только он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками, крича:

«Делай ход, негодяй, трус!»

Потом я схватил его за горло и с такой яростью стал душить, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бешевать и, когда меня тащили на медицинское освидетельствование, вырвался и пытался выброситься в окно в коридоре, разбил стекло и сильно порезал при этом руку — вот здесь еще остался глубокий шрам. Первые дни в госпитале у меня было что-то вроде воспаления мозга, но сейчас врач полагал, что мой рассудок и центры восприятия в полном порядке.

«Скажу прямо,— тихо произнес он.— Я не доведу об этом до сведения власть имущих, а то они могут явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее».

Что сказал моим преследователям добрый доктор, я так и не знаю. Во всяком случае, он добился своего — меня освободили. Может быть, он заявил, что я не отвечаю за свои поступки. Возможно и другое: интерес ко мне со стороны гестапо мог упасть, поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю Богемию и тем самым окончательно ликвидировал австрийскую проблему. Мне пришлось только подписать обя-

зательство покинуть страну в течение двух недель. Все это время заняла масса формальностей, так осложняющих в наши дни выезд за границу: надо было получить разрешение от военных властей, от полиции, уплатить налоги, выправить свидетельство о здоровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять о пережитом мне было некогда. Повидимому, какие-то тайные силы регулируют деятельность мозга человека и автоматически выключают опасные для него воспоминания. Как бы то ни было, но стоило мне вспомнить о моем заключении, как в сознании наступало полное затмение. Только спустя много недель, собственно говоря, только сейчас на пароходе я набрался храбрости и позволил себе оживить в памяти все, что пережил.

Теперь вам должно быть понятно мое странное и не совсем пристойное поведение тогда, во время вашей игры. Я случайно проходил через курительный салон и увидел людей у шахматного стола. Я просто остолбенел от удивления и испуга. Ведь я совершенно забыл, что можно играть в шахматы за настоящей доской и настоящими фигурами, забыл, что в этой игре участвуют два совершенно разных человека, что они сидят друг против друга. По правде говоря, прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру, в которую играл я сам столько времени в моем беспомощном состоянии. Значит, шифр, при помощи которого я вел свои игры на память, был не чем иным, как заменой, символом вот этих увесистых фигур. Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их ходы полностью соответствуют тем нереальным образам, которые жили в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен астроном, когда, показав на бумаге путем сложных математических вычислений существование новой планеты, он вдруг видит ее воочию, на небе, видит ее ясные, реальные очертания.

Я смотрел на доску, как зачарованный. Понемногу меня охватило любопытство, мне захотелось проследить настоящую игру двух игроков. И вот это-то и послужило причиной моего крайне прискорбного и невежливого вмешательства в вашу игру. Ошибочный ход, который собирался сделать ваш друг, поддоставал на меня, как удар прямо в сердце. Я остановил его инстинктивно, как останавливают ребенка, перегнувшегося через перила. Я только потом осознал всю грубую неуместность своего вмешательства.

Я поспешил заверить доктора Б., что все мы были очень рады случившемуся, тем более, что благодаря этому инциденту

познакомились с ним. Я добавил, что после всего услышанного мне будет вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем импровизированном турнире.

Доктор Б. сделал беспокойное движение.

— Право, вы не должны ожидать слишком многого. Это будет просто испытанием для меня, могу ли я... могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за шахматной доской, против настоящего, живого противника, передвигая настоящие фигуры. Потому что я начинаю все больше и больше сомневаться, играл ли я эти сотни или даже тысячи партий по правилам и не были ли они просто плодом моего больного воображения. Не была ли это просто шахматная лихорадка, бред, во время которого человек, как во сне, непрерывно движется вперед скачками? Ведь не думаете же вы серьезно, что я могу помериться силами с чемпионом мира, сыграть с ним, как равный с равным? На эту игру меня толкает только любопытство. Мне хочется выяснить задним числом, что же действительно происходило со мной в заключении: находился ли я на опасной грани безумия или уже перешагнул эту грань. Вот и все, ничего больше.

В этот момент прозвучал гонг, сзывавший пассажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти два часа — доктор Б. рассказал мне свою историю гораздо более подробно, чем я передаю ее. Я сердечно поблагодарил его и попрощался, но не успел еще пройти палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил, слегка заикаясь:

— Еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Главное для меня — это раз и навсегда разрешить для себя этот вопрос, так сказать, подвести окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать все снова. Я не могу позволить себе вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь еще вспоминаю с содроганием. Кроме того... кроме того, меня предупреждал врач, он настойчиво предупреждал меня. Для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива, поэтому мне, страдавшему «отравлением шахматами», даже если меня считают совершенно излечившимся, надо держаться подальше от шахматной доски. Так что вы понимаете — только одна пробная игра и ни одной больше.

На следующий день точно в назначенное время, в три часа, мы собрались в курительном салоне. Наш кружок пополнился еще двумя любителями королевской игры — это были офи-

церы, которые специально испросили у капитана освобождение от вахтенной службы, чтобы иметь возможность наблюдать игру. Чентович на этот раз тоже не заставил себя ждать, и после жеребьевки началась необычная игра: «Нотто obscissimus»¹ против прославленного шахматного чемпиона.

Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие мало смыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для анналов шахматного искусства, как были утеряны для истории музыки фортепьянные импровизации Бетховена. Правда, на следующий день мы сообща пытались по памяти восстановить ее, но напрасно. Очевидно, это произошло потому, что в пылу игры наше внимание было сосредоточено не на партии, а на игроках, разница в интеллектуальном уровне которых становилась все более заметной по мере того, как развертывалась игра.

Чентович сидел, как обычно, совершенно неподвижно, как глыба камня. Глаза его были неотступно устремлены на доску, умственное напряжение, казалось, стоило ему почти физических усилий. Доктор Б., напротив, держался свободно и непринужденно. Как настоящий дилетант, в лучшем смысле этого слова, как любитель, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре, он, казалось, отдыхал за шахматами. В начале игры он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, небрежно закуривал сигарету за сигаретой и, когда наступала его очередь делать ход, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он всегда заранее точно предвидел ход своего противника.

Дебютные ходы были сделаны быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чентович стал дольше обдумывать свои ходы; из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу.

Но, откровенно говоря, постепенное развитие партии, как это часто бывает в серьезных турнирах, принесло нам — не профессионалам — скорее разочарование. Чем более запутанным становился рисунок игры, тем более непонятными делались для нас позиции противников. Мы не только не могли постичь их планов, но даже разобраться, кто из них имеет преимущество. Мы только видели, что отдельные фигуры, прокрадываясь вперед, действуют, как рычаги, стремясь прорвать фронт противника, но поскольку каждый ход этих вы-

¹ Неизвестный человек (лат.).

дающихся игроков составлял только часть комбинации, а каждая комбинация — только часть плана, который, в свою очередь, осуществлялся только через несколько ходов, то стратегический замысел, согласно которому они двигали свои фигуры то вперед, то назад, был для нас совершенно непонятен.

Потом нами овладела давящая усталость, вызванная главным образом тем, что Чентович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать и нашего друга. Я с тревогой отметил, что чем дольше затягивалась игра, тем беспокойнее он становился: двигался на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал ее стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его создавал комбинации в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее, наш друг, улыбнувшись, как улыбается человек, давно ожидавший чего-то и наконец дождавшийся, сразу же делал ответный ход. Видимо, он со своим живым, подвижным умом успевал заранее исследовать все возможности, открывавшиеся противнику. Чем дольше думал над ходами Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Б., рот его сжимался злобно, почти враждебно. Чентович, однако, не желал торопиться. Он сидел упорный и молчаливый, размышляя над ходами, и по мере того, как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К сорок второму ходу, после битых двух часов, все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Один из офицеров уже ушел, другой читал книгу и бросал взгляд на доску только тогда, когда один из игроков делал ход. Но вдруг после хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Б., заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Б. быстро продвинул вперед своего ферзя и громко, торжествующе сказал:

— Так, теперь с этим покончено.

Потом он откинулся в кресло, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек.

Мы все невольно наклонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас, но прямой угрозы королю мы не увидели. Восклицание нашего друга относилось, повидимому, к развитию игры, которого мы, близору-

кие дилетанты, понять не могли. Один только Чентович не шелохнулся. Он оставался совершенно спокоен, как будто бы не слышал оскорбительного замечания «с этим покончено». Ничего не произошло. Однако все мы затаили дыхание, и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, семь минут, восемь — Чентович продолжал сидеть без движения, и только по тому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в душе.

Казалось, наш друг с трудом переносил это томительное безмолвное ожидание. Он внезапно встал, оттолкнул стул и принялся ходить поперек салона сначала медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Все присутствующие смотрели на него с удивлением, но никто не был так обеспокоен его поведением, как я: несмотря на свое возбуждение, он ходил по совершенно точно ограниченному пространству, как будто бы в воображении он каждый раз натывался на невидимую стену, заставлявшую его повернуть назад. Я с содроганием понял, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Во время заточения он, наверное, так же метался, как зверь в клетке, туда и сюда, спорбившись, с судорожно сжатыми кулаками, точь-в-точь, как сейчас. Так, наверное, он тысячу раз бегал из угла в угол с красными огоньками безумия в оставившихся и в то же время лихорадочно сверкающих глазах.

Но рассудок его был, повидимому, все еще в полном порядке, потому что время от времени он нетерпеливо поворачивался к столу, чтобы посмотреть, решился ли на какой-нибудь ход Чентович. Время продолжало тянуться — девять минут, потом десять... Затем произошло то, чего никто из нас не ждал. Чентович медленно поднял тяжелую руку, до того неподвижно лежавшую на столе. Взволнованные, с натянутыми до предела нервами, мы ждали развязки. Но Чентович не сделал хода. Медленным, но решительным движением он сбросил тыльной стороной руки с доски все фигуры. До нашего сознания не сразу дошло, что Чентович сдался. Он капитулировал, потому что не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неожиданное: чемпион мира, победитель бесчисленных турниров, опустил флаг перед неизвестным, перед человеком, двадцать или двадцать пять лет не касавшимся шахмат. Наш друг, никому не известный, безымянный, в честном бою одержал верх над сильнейшим игроком мира.

Сами того не замечая, все мы в волнении повскакивали с мест. У всех нас было чувство, что мы должны чем-то выразить охватившее нас радостное потрясение, должны что-то ска-

зять или сделать. Один только человек оставался неподвижен и спокоен — это был Чентович. Выждав немного, он поднял голову и, уставившись каменным взглядом на нашего друга, спросил:

— Еще одну партию?

— Конечно! — воскликнул доктор Б. с неприятно поразившим меня оживлением. Затем он сел и, прежде чем я успел напомнить ему об его условии — играть только одну партию, — начал с лихорадочной поспешностью расставлять фигуры. Он в таком возбуждении расталкивал их по местам, что дважды пешки выскальзывали из его дрожащих пальцев и падали на пол. Этот прежде спокойный и тихий человек явно был в каком-то экстазе, все чаще дергался уголок его рта, и он весь дрожал, как от озноба.

— Не надо, — прошептал я ему, — не надо. На сегодня достаточно. Это — слишком большое напряжение для вас.

— Напряжение? Ха-ха-ха! — громко и презрительно рассмеялся он. — За время, что мы тянули эту волюнку, я мог бы сыграть семнадцать партий. Единственное напряжение для меня — это удержаться от сна при таком темпе. Ну что же, начнете ли вы когда-нибудь?

Последние слова, сказанные резким, почти грубым тоном, отнесли к Чентовичу. Тот посмотрел на него спокойно и невозмутимо, но в его упрямом, каменном взгляде была угроза. Сразу же в игру вошло нечто новое — опасная напряженность и страстная ненависть. За доской встретились не два игрока, желающие испытать искусство противника, а два врага, поклявшиеся уничтожить один другого. Чентович долго медлил, прежде чем сделать первый ход, и у меня создавалось определенное впечатление, что медлит он нарочно, с целью.

Нет сомнения, этот испытанный в боях тактик уже давно сообразил, что его медлительность утомляет и раздражает противника. Не менее четырех минут употребил он на то, чтобы сыграть самое обычное из начал — ход королевской пешкой. Наш друг моментально продвинул королевскую пешку со своей стороны, и снова Чентович бесконечно, невыносимо затянул ответный ход. Так бывает, когда с бьющимся сердцем ждешь удара грома после ярко полыхнувшей молнии, а грома все нет и нет. Чентович, казалось, совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо, и у меня все усиливалось чувство, что делает он это намеренно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Б. Он только что осушил третий стакан воды, и я невольно вспомнил, как он

рассказывал о своей неутолимой жажде в камере. Налицо были все признаки ненормального состояния: лоб его покрылся испариной, шрам на руке покраснел и стал гораздо заметнее. Но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изводящее размышление, самообладание покинуло доктора Б., и, вспыхнув, он воскликнул:

— Сделаете ли вы ход наконец?

Чентович холодно посмотрел на него.

— Насколько я помню, мы условились ограничить обдумывание каждого хода десятью минутами. Я принципиально буду придерживаться этого условия.

Доктор Б. прикусил губу. Я заметил, как он со все возрастающим нетерпением постукивает ногой под столом, и уже не мог совладать с охватившей меня тревогой: меня давило предчувствие, что он снова окажется во власти безумия. На восьмом ходу снова произошла стычка. Доктор Б., самообладание которого явно улетучивалось, не мог скрыть своего нервного раздражения. Он все время двигался на стуле, принялся бессознательно барабанить по столу пальцами. Чентович снова поднял вверх тяжелую мужицкую голову.

— Могу я попросить вас перестать барабанить по столу? Мне это мешает. Я так не могу играть.

— Гм...— ответил доктор Б. с усмешкой.— Это и видно!

Чентович покраснел.

— Что вы хотите сказать?— спросил он резко и злобно.

Доктор Б. снова коротко и презрительно рассмеялся:

— Ничего, кроме того, что, по всей вероятности, вы очень волнуетесь.

Чентович промолчал и снова наклонился к доске. Только через семь минут он сделал следующий ход. Дальше игра продолжалась в том же похоронном темпе. Чентович словно превратился в камень. Теперь он уже полностью выдерживал установленный максимум, прежде чем двинуть фигуру. Поведение же нашего друга от хода к ходу становилось все более странным. Было похоже на то, что он потерял всякий интерес к этой игре и был занят чем-то совсем посторонним. Он перестал взволнованно расхаживать, сидел без движения и, уставившись в пространство отсутствующим, почти безумным взглядом, бормотал под нос что-то неразборчивое. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо же — и я подозревал, что это именно так, — разыгрывал в уме какие-то совсем другие партии. Как бы то

ни было, каждый раз, когда Чентович делал ход, его нужно было возвращать к действительности. И теперь уже ему требовалась одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении.

Во мне росло убеждение, что у доктора Б. начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас и о Чентовиче. И действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как доктор Б., бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на три клетки вперед и громко, так, что мы все вздрогнули, закричал:

— Шах, шах королю!

В ожидании чего-то необычайного все впились глазами в доску. Но прошла минута, и дело приняло неожиданный оборот. Очень медленно Чентович приподнял голову, чего не делал до тех пор, и обвел нас глазами. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие, губы его мало-помалу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. Только после того, как он полностью насладился своим торжеством, причина которого была для нас непонятна, он с притворной вежливостью обратился к нам:

— Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, укажет мне, в чем заключается шах моему королю?

Мы посмотрели на доску и затем с тревогой на доктора Б. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой — это заметил бы и ребенок, — так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, наш друг в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Наше молчание привлекло внимание доктора Б.; он пристально посмотрел на доску и, запинаясь, сказал:

— Но король ведь должен быть на f7. Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход!.. Все фигуры стоят не на своих местах: эта пешка должна быть на d5, а не на d4. Это совсем другая партия. Это...

Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем лихорадочном смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сомнамбула, посмотрел на меня:

— Что... вам угодно?

— Вспомните! — сказал я одно только слово и слегка провел пальцем по шраму на его руке.

Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полоску. Вдруг он начал дрожать всем телом, лоб его покрылся крупными каплями пота.

— Ради бога,—прошептал он бледными губами,—неужели я сказал или сделал какую-нибудь глупость? Неужели возможно, что я опять?..

— Нет,—тихим голосом ответил я,—но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора. Вспомните, что сказал врач.

Доктор Б. резко вскочил со стула.

— Прошу прощения за свою дурацкую ошибку,—сказал он прежним вежливым голосом, склоняясь перед Чентовичем.— Я, конечно, сказал совершенную чепуху. Само собой разумеется, что эту партию выиграли вы.

Потом он повернулся к нам:

— И вас, господа, я тоже прошу извинить меня. Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Это последний раз, что я поддался искушению сыграть в шахматы.

Он поклонился и удалился с таким же скромным и загадочным видом, как впервые появился среди нас. Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам, остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их.

— Черт бы побрал этого дурака! — проворчал разочарованно Мак Коннор.

Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию.

— Очень жаль,—великодушно сказал он.— Атака была совсем неплохо задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо.



Стефан Цвейг
ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

Редактор — Н. КРУЖКОВ.

А 05895. Подписано к печати 22/X 1956 г. Тираж 150 000. Изд. № 1011.

Заказ № 2520. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. 0,75 бум. л.—2,05 печ. л.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.

ОРГАНЫ ГОССТРАХА СССР
Заключают
договоры
СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ

**НА РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ
И СТРАХОВЫЕ СУММЫ**

На страхование принимаются с врачебным освидетельствованием и без освидетельствования лица в возрасте от 16 до 60 лет.

По договорам страхования жизни Госстрах выплачивает страховые суммы застрахованным лицам и их семьям.

За справками об условиях страхования и для заключения договора обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.

**ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ!**